

Кончаловский Андрей

01.04.98.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ

КОНЧАЛОВКА ДЛЯ АРИСТОКРАТОВ

Улица Горького, 8

В этом доме жили лауреаты Сталинских премий, жили уцелевшие после довоенных сталинских чисток и жертвы чисток грядущих. Мы жили на пятом этаже. У нас была трехкомнатная квартира, вещь по тем временам почти нереальная. Правда, и нас уже было немало: папа, мама, трое детей, няня-испанка, из коммунистов-испанцев. В нашем подъезде жил Хмелев. Он был женат на Лале Черной, знаменитой актрисе из цыганского театра «Ромэн». Она любила веселье, чуть не каждый вечер у них собирался целый цыганский хор, на весь подъезд несло пение. Напротив Хмелева жил дирижер Большого театра Позовский. В соседнем подъезде жили генерал армии Черняховский, секретарь МК Красавченко, впоследствии, после падения с горкомовских высот, заволашавший кафедрой марксизма во ВГИКе. Геловани жил в квартире, выходившей окнами на Советскую площадь — напротив «Арагви». К обеду он выходил на балкон, кричал: «Резо!» Из дверей ресторана выглядывал швейцар. «Накрывай!» Ему накрывали стол, Геловани шествовал обедать. С «Арагви» спустя время я тоже познакомился поближе — Михалковскими разных поколений там было выпито достаточное вино и водки. Году в 47-м мы с отцом как-то зашли к Геловани. Увиденное надолго запомнилось. Он лежал на диване, в пустой комнате, вдоль стены на полу стояло несколько десятков пустых коньячных бутылочек. Странное ощущение. По дому ходили слухи, что, увидев себя в исполнении Геловани, Сталин сказал: «Не знал, что я такой красивый и такой глупый». 1947 год. Железный занавес. Начало антикосмополитской кампании. Журналы, газеты полны антисемитских карикатур, клеймят предателей, безродных отщепенцев, обличают на собраниях, сажают, ссылают. В январе 1948-го убит Михоэлс. Что происходит в нашем доме? Мне дают манную кашу. С маслом. Приходит какая-то сумасшедшая женщина, приятельница мамы, они о чем-то говорят за закрытой дверью. Спустя годы узнаю, что это была жена Санаева. Под пальто она завернула себя в отрезны крепдешина и коверкота, просила маму все это спрятать. Санаева арестовали, она боялась самого худшего, хотела спасти хоть что-то. Через пару недель Всеволода Васильевича, на всю жизнь напуганного, выпустили. Матвей Блантер играл у нас на рояле (они с отцом сочиняли песню) и зарыдал: — Не могу! Не могу! Меня завтра посадят! Что означает «меня завтра посадят», я не представлял. Его жена Тania Блантер была красавица. Тогда славилась три Татяны, самые красивые, самые обожаемые, самые неотразимые для всей мужской части Москвы женщины, — Тания Блантер, Тания Окуневская, Тания Лагина. Актриса Зоя Федорова пришла к нам прямо из тюрьмы. Интересно, почему к нам шли люди? Это я понял много позже. Шли потому, что знали: их примут. Я и не ведал, какая страшная жизнь была вокруг. Нас она словно бы не касалась. Точнее, это тогда я не ведал, какая она страшная и что касается всех — нас, естественно, тоже. Потом я спрашивал у отца: — Ты боялся? — Нет, — отвечал он, — не боялся.

— Как не боялся?! — Знаешь, посадили того, посадили этого. Думаешь, если посадили, значит, за дело, значит, виновен. Но я-то не виновен. Лучше так думать, потому что, если не за дело, тогда катастрофа. Тогда нельзя жить. Думаю все же, это неправда. Или не вся правда. У отца четко работала интуиция. Туда, куда лезть не просили, он не лез. У меня есть запись, где отец рассказывает, как после приема в Кремле его пригласили к Сталину. Там были Сергей Герасимов, Григорий Александров, Николай Вирта, Александр Корнейчук; все пытались встроиться в разговор, а отец сидел в уполочке на стуле. — Чего ж так? — спрашиваю я. — А чего я полез? Лучше не лезть. Сколько раз Василий Сталин приглашал меня к себе в дивизию с Эль-Регистаном! Вроде как по делу, но, наверное, без выпивки тоже бы не обошлось. Я всегда находил повод не пойти. Моя мама говаривала: «Кого жалуют цари, того не жалуют псы». Зачем попадать на отметку? Вроде бы Сталин даже внимания не обратил на отца. Поздоровался, и все. К себе не позвонил. Но, думаю, ему понравилось, что Михалков не высовывается. Понимает, что лезть не надо. В людях Сталин разбирался. В годы более поздние, в конце 50-х, отец уже не обошелся без участия в политических играх, но во времена сталинские предпочитал быть просто детским поэтом. Он много добра сделал людям — вытаскивал из тюрем, лагерей (не всегда получалось, но, бывало, и получалось), устраивал в больницы, «пробивал» квартиры, пенсии, награды, — порой вовсе не тем, кто помнит добро. Последнее, кстати, отца никак не переменяло. Его жизненным принципом как было, так и осталось: «Если можешь, помоги». Вообще он человек редких качеств, хотя, конечно, все речи, какие полагалось произносить председателю писательского союза и депутату разнобразных советов, произносил и, что полагалось подписывать, подписывал. — Коммунистом я не был. Членом партии, да, был, — недавно сказал мне отец. — Трудно было не быть. А вот Фадеев был коммунистом. Потому и застрелился. Многие прежде думали — потому что стали возвращаться из лагерей люди, которых он «сдал». А сейчас опубликовано его предсмертное письмо в ЦК ВКП(б), стали приходят документы из архива, и по ним видно, сколько он пытался спасти, сколько писем писал в защиту посаженных писателей! Нет, он мог не бояться смотреть людям в глаза. Он просто не мог пережить крушения своей веры

Кончаловка

С кончаловкой связана вся моя жизнь. И не только моя, но и моего отца Сергея Владимировича, и дела Петра Петровича, и брата Никиты, и моего сына Егора, и Никитино сына Степана — всех Кончаловских и Михалковых. Кончаловка — это водка. Рецепт ее пришел в нашу семью от Кончаловских, потому и кончаловка. Делалась она по-особому. Бралась водка, самая обыкновенная, не самого хорошего сорта — «Московская». Заливалась в огромную десятилитровую бутылку. В горло бутылки мама засыпала крупинки марганцовки, ставила ее в темный чулан. Марганцовка медленно оседала вниз, дней через пять-десять на дне бутылки плавали темные хлопья осажденных сивушных масел.

Господи, сколько раз я пил эту водку вместе со всей этой химией и сивушной грязью! Но вообще-то, если водка успевала достоять положенное, очищалась она неплохо. Затем в дело шла смородина. Слово какое замечательное — «смо-ро-ди-на!» По весне собирали смородиновую почку и настаивали на ней водку. Настойка получалась зеленого цвета и пахла смородиновым листом. Запах смородиновой почки, нестерпимо пронзительный. Замечательный запах! Такой водки получалось не очень много, поскольку и почек можно было набрать тоже не очень много — не обирать же все кусты! Водка на смородиновой почке — это, так сказать, для аристократов. Нормальная же кончаловка делалась так. Бралась смородина, пять-шесть килограмм, от ягод отстригались пупочки, ягода мылась, выкладывалась сушиться на газете. После четырех дней сушки смородину закладывали в бутылку с десятью литрами очищенной водки. Настоявшись, водка приобретала удивительный гранатовый цвет, на просвет бутылка казалась наполненной красным вином. Кончаловке отдавали должное все мамыны гости — и Алексей Толстой, и граф Игнатъев, и хирург Вишневский, о Борисе Ливанове уж и не говорю. Ливанов как-то пришел к нам обедать, но на час раньше назначенного. Мама была занята на кухне, попросила его посидеть в столовой. Когда заглянула туда, на накрытом к обеду столе стоял уже до дна опустевший штоф и блюдо с остатками пирога. Мама была в ужасе, высказала своему дорогому другу все, что про него думает, но тому уже было море по колено.

«Андрей Рублев»

Замыслом «Андрея Рублева» мы с Тарковским обязаны Васе Ливанову. Он пришел к нам и сказал: «Давайте делать фильм о Рублеве». Предложение было очень неожиданно. Позже я думал, откуда Васе пришла эта идея. В начале 60-х русская иконопись постепенно, шаг за шагом стала признаваться официальной властью. Вася был молод, красив, очень подходил к роли Рублева: длинное лицо, тонкий нос. В совсем недавно открывшемся музее Андрея Рублева в Андронниковом монастыре был выставлен его Спас, и чем-то черты этого Спаса напоминали Васю. Может быть, от этого сходства и пришла ему идея фильма? Потом Ливанов уехал сниматься, а мы с Андреем решили не ждать и сели работать. Поехали на юг, начали обсуждать тему, стала появляться история. Когда Ливанов вернулся, мы сказали: «Вася, поезд ушел. Мы написали без тебя». Мы перед ним в долгу. Тарковский не думал снимать Ливанова, хотел снимать Смоктуновского. Мы предложили Кеше сценарий, но перед ним стал выбор: кого играть — Рублева или Гамлета? Он выбрал Гамлета. Сценарий мы писали долго, упорно, с полгода ушло только на изучение материала. Читали книги по истории, по быту, по ремеслам Древней Руси, старались понять, какая тогда была жизнь, — все открывать приходилось с нуля. Андрей никогда не мог точно объяснить, чего он хочет. Всегда говорил о вещах, не имеющих отношения к характерам, к драматургии. — Вот, — говорил он, — хочу это ощущение, когда клейкие листочки распускаются. Попробуй из этого сделай сценарий! Ощущения у него подменяли драматургию. Сценарий распу-

хал, в нем уже было двести пятьдесят страниц. К концу года работы мы были истощены, изучены, доходили до полного бреда. Знаете, что такое счастье? Это когда мы, окончив сценарий под названием «Андрей Рублев», сидим в комнате и лупим друг друга изо всех сил по голове увесистой пачкой листов — он меня, я его — и хохочем. До колых. Чем не сумасшедший дом! Помню последний день работы над сценарием. Мы кончили часов в пять утра, в девять решили пойти в баню. Он пошел с драгоценными страницами к машинистке, я — в баню. Заказал номер, полез в парную. Когда вышел, упал — руки-ноги отнялись, давление упало. Думал, умираю. Голым, на ка-этом, так сказать, для аристократов. Нормальная же кончаловка делалась так. Бралась смородина, пять-шесть килограмм, от ягод отстригались пупочки, ягода мылась, выкладывалась сушиться на газете. После четырех дней сушки смородину закладывали в бутылку с десятью литрами очищенной водки. Настоявшись, водка приобретала удивительный гранатовый цвет, на просвет бутылка казалась наполненной красным вином.

Я уехал снимать «Асю», с головой погрузился в свои проблемы. Прошло около года. «Рублев» был закончен, его положили на полку. «Ася» тоже была закончена, и ее тоже положили на полку. Я посмотрел «Рублева», у меня

возник ряд соображений. Попытался убедить Андрея сократить картину. — Коммунисты тоже считают, что надо сокращать. — Ты сделай вид, что выполняешь их поправки. А сам сокращай только там, где ты хочешь. Сохрани то, что тебе нужно, но картину-то длинна. Длинна, понимаешь? — Это ты ничего не понимаешь. Опять ясно проглядывался наш разлад. «Рублева» и «Асю Клячину» запертили одновременно. Судьба нас как бы вела вместе.

Ревность

Художники, которые растут вместе и чувствуют масштаб друг друга, относятся друг к другу очень настороженно. В этом нередко какая-то почти детская ревность. В этом детстве художник, в известном смысле, и живет в любом своем возрасте. Что скрывать (пустячок, а приятно), есть чувство легкого удовлетворения, когда у твоего соперника картина не получается! Хотя мы делаем серьезное лицо, показно переживаем, говорим: «Жалко. Не получилась картина». Ликования при этом и в самом деле нет, но все-таки слегка приятно. Что это? Почему? Правда же, в этом что-то детское. Успех ровесника, а хуже того — младшего коллеги, — вещь очень болезненная. Скажем, успех младшего брата. Брату старшему полагается иметь все раньше, чем младшему. Я наблюдал за собой эти моменты. Нет, об этом позже, пока о Тарковском. После смерти Андрея появилось немало число людей, в обильных подробностях описывающих свою приобщенность к его творчеству, рассказывающих, какими соратниками они ему были. На деле же соратников у него было немного. Ему нужны были не соратники, а «согласники», люди подлаживающие и восхищающиеся. Ну что ж, это тоже потребность художнической души. Вспомню слова Рахманинова, который тоже был человеком болезненно, исключительно мнительным. От своей жены, говорил Рахманинов, художник должен слышать только три вещи: что он гений, что он гений и что он абсолютный гений. От Отара Иоселиани я недавно узнал об одном любопытном случае. Рассказал он мне о нем на фестивале в Сан-Себастьяне, где был членом жюри, а я прилетел получать Гран-при за «Гомера и Эдда». За кулисами, в пыльной темноте, пока мы расставляли бутылку водки (я — на голодный желудок, прямо с самолета — на перемонии), Отар рассказал мне, как однажды пришел к Андрею. Вокруг за столом было обычное окружение Тарковского. — Ну как тебе «Зеркало»? — спросил он. — По-моему, вещь путаная, длинная, — сказал Отар свойственным ему отеческим тоном. Возникла тяжелейшая пауза, все, потупив глаза, замолчали. Андрей бросил быстрый взгляд по сторонам, сказал: — Ему можно. Все тут же оживилось. Боялись скандала, но пронесло. Это уже был Андрей времен «Зеркала». Андрей не был никогда диссидентом. Он был наивным, как ребенок, человеком, напуганным со-

ветской властью. Он хотел жить за границей, хотел свободно ездить, как все нормальные художники. Это желание было важно, а не идея борьбы с советской властью. Володя Максимов собственноручно перетащил его на диссидентскую сторону. Ему организовали пресс-конференцию в Италии, она уже имела отчетливый политический оттенок: «Не возвращаюсь, потому что мне нужна свобода». «Я — невозвращенец» — это уже было серьезным ударом, и прежде всего для самого Тарковского. С этого момента он начал бояться, что его убьют, украдут, это приобрело уже характер мании. В Лондоне он попросил для своей охраны агента Скотланд-Ярда, иначе его затолкнут в мешок, увезут в Москву. Он был бесконечно далек от политики и не понимал, что в андроповское время уже никто никого не будет выкрадывать. Это, вероятно, еще могло быть при Хрущеве, когда пытались затаскать в туалет Руди Нуриева. Но с тех пор уже прошло пятнадцать лет. Я сказал ему: — Андрей, тебя никто не украдет. Тебя приглашает Сизов (был такой, директор киностудии «Мосфильм»), ему можно верить. Андропов лично дает гарантию, что если ты вернешься — получишь заграничный паспорт. Я убежден, так и будет. Разговор происходил в Канне. Андрей посмотрел на меня. — Знаешь, я решил остаться. Мне тут заплатили за «Ностальгию». Ну что я куплю на эти деньги? Ну куплю «Волгу», квартира есть. Вернусь — опять не дадут работать. — Устрой пресс-конференцию. Объяви, что уезжаешь в Россию, что если тебя назад не выпустят, пусть все знают, ты — жертва коммунизма. Но, я уверен, тебя выпустят, не посмеют не выпустить. Ты артист международного класса. Он меня не послушал. На прощание посмотрел на меня с сомнением. Потом дошел слух, что он сказал: «Андрон работает в КГБ. Он уговаривал меня вернуться». Виделись мы после этого только один раз — на рю Дарю. Я шел в церковь, он — из церкви. Я уже остался за границей. — Ты что здесь делаешь? — спросил Андрей. — То же, что и ты. Живу. Он холодно усмехнулся: — Нет, мы разными делами занимаемся. У него было замечательное лицо, скульпстное, с раскосыми глазами и редкой монгольской бороденкой. Когда он смеялся, на щеках, обтянутых пергаментной кожей, собирались мелкие морщинки. В эти минуты мне всегда так хотелось его обнять! Сколько мы смеялись! Любимый мой Андрей. Больше мы уже не встречались. Когда я снимал «Дуэт для солиста», мне передали, что меня очень срочно просит позвонить Марина Влади. — У Андрея рак, — сказала она. — Нужны деньги. Ее муж был врач. Помню, как сейчас, я стоял в будке автомата, шел дождь, все внутри меня схалось в комок. Думаю, Андрей и заболел оттого, что у него такой характер — нервный, нетерпимый. То, что он уехал, что пути назад ему уже не было, его мучило. Не сомневаюсь, это ускорило развязку.

Все. Кончаловский. 1998. — 2 апр. — с. 14.